

От Сократа к Тациту: Античность в «Воспоминаниях» Ф. В. Булгарина

В статье анализируется античный фон в «Воспоминаниях» Ф. В. Булгарина. Выявляя уровни и способы вовлечения античного материала в текст, автор исследует функции античных реминисценций в движении мемуарного сюжета. Статья уточняет представление о судьбах русской античности в Николаевскую эпоху.

Ключевые слова: Ф. В. Булгарин; Сократ; Тацит; мемуаристика; античность; риторические стратегии

Natalia Akimova

From Socrates to Tacitus: Antiquity in “Memoirs” by F. V. Bulgarin

The article analyzes the ancient background in the “Memoirs” by F. V. Bulgarin. Identifying the levels and ways of involving ancient material in the text, the author explores the functions of ancient reminiscences in the movement of the memoir plot. The article clarifies the idea of the fate of Russian antiquity in the era of Nicholas I.

Keywords: F. V. Bulgarin; Socrates; Tacitus; memoirs; antiquity; rhetorical strategies

Многих выдающихся мужей древности
поглотило забвение, как если бы они были
бесславны и безвестны; Агрикола же,
переданный в этом повествовании потомству,
пребудет вечно.

Корнелий Тацит

Популярный писатель и журналист Ф. В. Булгарин (1789–1859) – представитель активно формировавшегося в России XIX в. слоя людей умственного труда, известного позднее как русская интеллигенция. Его активная литературная деятельность дает материал для изучения эстетических и культурных предпочтений этой новой, социально довольно неоднородной страты¹, которая, появившись в петровскую эпоху, смысл своей жизни и деятельности, по словам Г. С. Кнабе, видела «в освоении и внесении в русскую жизнь культуры и просвещения – всей совокупности знаний, накопленных к тому времени не только в России, но и за ее пределами, в первую очередь в Западной Европе; языком же и атмосферой, формой и почвой этой культуры и этих знаний было античное наследие в самых разных его проявлениях» [17, с. 98–99]. В этой связи представляется актуальным исследование античной составляющей «Воспоминаний» Булгарина [7], пожалуй, самого значительного труда из его наследия. Много томное жизнеописание, вопреки существовавшей традиции опубликованное автором при жизни, – немаловажное культурное событие для самоидентификации людей культурного слоя 40-х гг. XIX в.

Булгарин-мемуарист оказался перед сложной проблемой сочетания исторического и интимно-личного повествования, стилистического оформления довольно пестрого материала (подзаголовок «Отрывки из виденного, слышанного и испытанного. . .» для него принципиален), сопрягая манеру хроникера-документалиста и беллетриста, он то тяготеет к устаревшей просвещенческой риторике, то предвосхищает стиль военной прозы второй половины XIX в. Анализ риторических стратегий мемуарного текста Булгарина в их соприкосновении с античным материалом дает возможность понять, являются ли они данью архаической традиции или же сигнализируют о ее трансформациях в новой культурной ситуации, что позволит внести дополнительный вклад в осмысление судеб русской античности.

1

Сложная национальная идентичность – не редкость для формирующейся русской интеллигенции. Булгарин проделал причудливый путь от полонофила к патриоту-«русаку», о чем свидетельствуют

этапы его биографии: на смену польско-белорусскому детству пришло столичное кадетство, сменившееся боевой военной юностью, сначала в качестве русского офицера, а затем – польского, сражавшегося за независимость Польши под знаменами Наполеона, и наконец, в зрелые годы ему предстояло стать известным русским писателем и журналистом.

На всех этапах античность – важный элемент его культурной идентификации. Приобщение к ней происходит прежде всего через язык: для родившегося в семье католиков латынь – язык его вероисповедания. Однако довольно рано Булгарин оказывается в маргинальной ситуации: выходец из недавно присоединенных к Российской империи территорий, девятилетний Тадеуш был отдан в столичный Сухопутный шляхетный кадетский корпус², став на русский манер Фаддеем. Конфликт языков, религиозных и культурных стереотипов в новой для него языковой, конфессиональной и культурной среде был неизбежен: «Я не понимал всего, что мне толковали по-русски учителя, следовательно, и не мог успевать за другими. Меня стали наказывать. Выведенный из терпения привязчивостью кадет, я стал драться с самыми дерзкими из них; наказания усилились. Наконец, оскорбленный несправедливостью, я сказал что-то неприятное главной инспекторше; меня посекли розгами, и я пришел в отчаяние! <...> Наконец я не мог выдержать этой внутренней борьбы – и заболел. Меня отвели в госпиталь, над которым начальствовала мадам Штадлер. У меня открылась изнурительная лихорадка» [7, ч. I, с. 246–247]. Госпиталем закончился и поход в русскую баню – голого Фаддея кадеты с криками «Крестить Костюшку в русскую веру!» сбросили в сугроб: «Ночью я почувствовал сильную головную боль, и к утру отнесли меня, без чувств, в госпиталь. У меня открылась нервическая горячка, в которой я пролежал шесть недель» [7, ч. I, с. 257–258]. Тем не менее через несколько лет он обрусел: «...ходил с товарищами в русскую православную церковь, даже учился православному катехизису <...> По-польски я почти забыл и, хотя понимал легкий разговор, но сам не мог уже объясняться, да и другие забыли, что я не природный русак» [7, ч. II, с. 51].

Булгарин приводит в своих мемуарах выразительный эпизод из своего кадетского детства, когда он в качестве альтя-солиста пел на клиросе во время праздника по случаю хиротонии архиерея: «Кадетский хор пел концерт сочинения Бортнянского под его личным регентством, и мне пришлось петь соло. И теперь помню и музыку, и слова этого соло: „От восток солнце на запад хвально имя Господне!“ Бортнянский выставил меня вперед перед хором, и я пел вполоборота к публике. Вдруг в толпе поднялся глухой шум... одной даме сделалось дурно, и ее вывели под руки из церкви. Я оглянулся... это была... моя мать!.. Дрожащим голосом окончил я соло и, сказав, что мне дурно (у меня точно закружилась голова), выбежал из церкви. <...> Я с воплем бросился в объятия матери!.. <...> Пошли слезы, увещания, и наконец матушка, известив меня о смерти моего отца, священной памятью родителя заклинала меня сохранить *его* веру!.. Разумеется, что я повиновался» [7, ч. II, с. 52–53, 55–56]. История эта вызвала резонанс, в корпусе был учрежден класс для преподавания римско-католического катехизиса, и римские католики стали ходить в свою церковь.

Устав, утвержденный императрицей Екатериной II в сентябре 1766 г. (когда корпус был реорганизован по проекту, составленному И. И. Бецким), преследовал цель «сделать человека здоровым и способным сносить воинские труды» и «украсить сердце и разум делами и науками, потребными гражданскому судье и воину», готовить не только «исправных офицеров», но и «знатных граждан». Для этого признавалось необходимым наличие общеобразовательных предметов, среди которых: физика, математика, иностранные языки, история, мифология, риторика, логика, философия, а также живопись, танцы, верховая езда и фехтование [19, с. 47–64]. В программе кадетского воспитания и обучения античность была важнейшим каналом формирования образованного человека, русского европейца.

Легендарной фигурой для кадетов и их воспитателей был главный директор корпуса (в 1786–1794 гг.) Ф. Е. Ангальт, принятый по приглашению императрицы Екатерины II на русскую

службу. Последователь педагогических идей Руссо и Локка, Ангальт уделял большое внимание нравственному воспитанию кадетов. На собственные средства он увеличил библиотеку корпуса, по его просьбе императрица, называвшая корпус «рассадником великих людей», подарила кадетам библиотеку генерала Якоба фон Эггера, насчитывавшую 7000 томов. Ангальт ввел в употребление «сверхкомплектные тетради», в которых кадеты записывали воспоминания, выборки из других сочинений, и сам просматривал эти тетради, делая в них пометы. В музее корпуса хранилось около 400 рукописных томов на русском, немецком и французском языках, большей частью состоящих из литературных упражнений кадетов старших возрастов. По приказу Ангальта стену, окружавшую корпусной сад, разрисовали изображениями исторических лиц, стран, видов животных, птиц, эмблем, систем мира (Птолемея и Коперника), поместили на ней поучительные изречения на русском и иностранных языках, хронологию важнейших открытий и т. д. Подобным же образом были расписаны стены рекреационного зала, причем записи делали сами кадеты: существовал ритуал обсуждения и помещения записей на специальные доски. Все эти накопленные за годы материалы были напечатаны двумя книжками, вручившимися выпускникам корпуса – «моим добрым детям»: «La muraille parlante» («Говорящая стена») и «La salle de récréation» («Рекреационный зал») [4; 26; 36]. Традиция эта сохранилась и после смерти Ангальта, включая первое десятилетие XIX в., Булгарин также получил книжки с его наставлениями. «Почти все кадетские офицеры были воспитанники графа Ангальта или прежние, образованные им гувернеры. Корпус, подобно сосуду, в котором хранилось драгоценное благоволение, еще благоухал прежним ароматом. В рекреационной зале еще стояли бюсты великих мужей, которых жизнь и подвиги толковал граф Ангальт кадетам, возбуждая в них идеи славы и величия; еще каменная стена, вокруг корпусного сада, красовалась эмблематическими изображениями, поучительными изречениями, афоризмами, нравственными правилами мудрецов, и эпохи важнейших событий в мире были

начертаны хронологически, для пособия памяти», — вспоминает он [7, ч. I, с. 246–247].

Кадеты не только хорошо знали иностранные языки, античных авторов, но и воспитывались на примерах героев Древнего мира. Корпусный преподаватель Булгарина П. С. Железников в бытность свою кадетом перевел воспитательный роман французского писателя Ф. Фенелона «Приключения Телемака» (1699), написанный на античный сюжет для наследника престола герцога Бургундского (внука короля Людовика XIV), с наставлением о том, каким должен быть настоящий государь и как надо управлять государством³. Издание, напечатанное в типографии Шляхетного сухопутного кадетского корпуса, содержало указание: «В пользу одного Корпуса».

В свою очередь, первым издательским опытом Булгарина явился перевод первого тома «Од Горация» с комментариями польского латиниста И. Ежовского [16]. С одной стороны, в этом можно видеть продолжение усвоенных корпусных традиций. С другой — булгаринская национально-культурная двойственность дала знать о себе и в этой акции: издание было частью одного из направлений просветительской деятельности польского патриотического общества филаретов, А. Мицкевич и Ежовский наряду с комментариями к латинским одам планировали издать энциклопедию латинских классиков [см.: 35]⁴. В одном из своих ранних журнальных опытов, статье «Нечто о переводчиках Гомера», Булгарин между прочим писал: «Из всех европейских народов поляки едва ли не прежде всех начали читать древних писателей на природном своем языке. Еще в XVI веке они имели Анакреона, переведенного Иваном Кохановским, Вергилия, переведенного братом его Андреем, Сенеку, переведенного Будным, Аристотеля — Петрицием и проч.» [10, с. 154–155].

Его первое выступление в Вольном обществе любителей российской словесности после избрания действительным членом 16 мая 1821 г., призванное заявить о нем как о серьезном литераторе, было посвящено философской проблематике. Рекомендованный к печати после голосования доклад «О метафизике наук» [11]

подвергал критике «заблуждения древней и новой школы метафизиков», в особенности философию И. Канта, с позиций здравого смысла. Вновь, как и в прежних работах, он выступил пропагандистом польской культуры, опираясь на философские воззрения крупного польского ученого-энциклопедиста, известного астронома и математика, доктора философии, идеолога польского Просвещения Я. Снядецкого. С этого времени Булгарин вырабатывает свою «философию здравомыслящего человека», призванную служить руководством к практике и лишённую умозрительного характера [см. подробнее: 2]. Её важнейшими составляющими были: во-первых, пропаганда и популяризация конкретных знаний (исторических, географических, статистических)⁵; во-вторых, литературное творчество, преследующее цель морального преобразования общества на основе просветительских идеалов через нравственно-сатирические произведения; и наконец, личная активность, направленная на достижение материального благополучия, свидетельством чему стала его успешная журналистская и издательская деятельность, потребовавшая коммерческой хватки. Результатом этих составляющих должен был быть тот самый «душевный покой», который, по Снядецкому, сопутствовал и достоинству человека. Воплощением такой философии для Булгарина стал Сократ, к которому он с тех пор обращался не раз. Получивший (в традициях времени) прозвища русского Жуи и русского Вальтера Скотта, он в какой-то мере претендовал и на прозвание русского Сократа, на что не преминули обратить внимание его критические оппоненты. Так, В. Г. Белинский в статьях 1840-х гг. не упускал случая саркастически обыграть эту претензию: «...г. Булгарин сравнивает себя с Сократом, в которого один афинянин бросил грязью; а „Отечественные записки“, „Литературную газету“ и „Москвитянина“ сравнивает с этим афинянином!.. Вот поистине забавное сравнение! Г-н Булгарин и – Сократ!.. Сократ и – г. Булгарин!.. Удивительное сближение! Действительно, в жизни сих двух великих людей очень много сходного, хотя они и разделены тысячелетиями!..» [5, т. VII, с. 43]⁶.

В 1832 г. для смирдинского альманаха «Новоселье» Булгарин дал притчу «Омар и просвещение» в форме беседы с просвещенной женщиной, полемически включившись в формирующуюся традицию (ср. философское сочинение поклонника немецкой метафизики Д. В. Веневитинова «Письма» к А. И. Трубецкой, опубликованные в 1831 г., позднее такую же форму изберет П. Я. Чаадаев). Действие происходит в Александрии, сосредоточившей огромное количество книг ученых-софистов, однако о нравственных и гражданских добродетелях напоминает горожанам только ненавидимый ими за это чужак Апертус, которому Булгарин уготовил роль героя-резонера. Именно его делает халиф своим советником, позволив взять из библиотеки лишь одну книгу, необходимую в жизни. Герой-резонер выбирает «Собрание рассказов учеников Сократа о его жизни, деяниях и учении», так характеризуя философию Сократа, выражающую новую стадию булгаринской «здравой» философии: «Сократ не искал *первых причин*, не занимался глубокомысленными теориями, говоря, что в них ум *не просвещается, но заблуждается*... что наука, единственно нужная для людей, есть наука *их обязанностей и отношений к человечеству*» [14, с. 487–488]. «Зло уничтожается единственно водворением законов и правосудия», – убеждает халифа резонер, вот почему Омар сжигает библиотеку, считая, что «для просвещения народа довольно мудрости Сократа», все остальное есть в Коране [14, с. 492]. Хотя в финале Булгарин и заявил, что «не так строг, как Апертус», но он явно разделял взгляды своего героя и отвел себе в обществе роль если не Сократа, то мудрого и смелого советника власти. Одним из жанров его своеобразных философских выступлений стали докладные записки правительству, вошедшие в историю как пресловутые доносы Булгарина, современные исследователи считают, что можно говорить о содержащемся в них социальном конструировании или политическом философствовании [3; 24; 34]. Не являясь оригинальным мыслителем, Булгарин попытался соединить европейские либеральные ценности с идеями и задачами русского консерватизма, создав цельную систему взглядов. Спустя многие годы он остался

верен усвоенным в молодости принципам «здравой философии», претерпевшей определенные трансформации, но неизменной по своей сути.

На всех этапах своего пути Булгарин осознавал себя европейцем, размышляя о своеобразии славянского характера, он неизменно видел славянство частью европейской истории и культуры. Собственно для него история настоящей России начинается с Петра Первого и осуществляется как постепенное приобщение к европейской культуре. Свою позицию он нередко обосновывает, апеллируя к авторитетной точке зрения, – таков в «Воспоминаниях» фрагмент беседы с видным экономистом, министром финансов Е. Ф. Канкрином: «„Если рассудить, то мы по справедливости вместо того, чтоб называться *русскими*, должны прозываться *петровцами*, – сказал граф Егор Францевич. – Что сделали для нас *варяго-руссы* в сравнении с тем, что совершил Петр Великий? При варяго-русских правителях мы были варварами, азиатцами, и как в старину монголы покорили Россию, так в течение времени терзали бы ее наши европейские соседи, если б не родился Петр! Всем: славою, силою, довольством и просвещением обязаны мы роду Романовых и из благодарности должны были бы переменить наше общеплеменное название *славян* на имя творца империи и ее благоденствия. Россия должна называться *Петровией*, а мы *петровцами*, или империя – *Романовой*, а мы *романовцами*“. Идея оригинальная, а в существе справедливая! Всевышний, сотворив землю, определил на веки веков место ее во вселенной и ход в небесном пространстве; Петр Великий, создав империю, назначил ей место в политическом мире и дал направление, по которому ей должно следовать для достижения высочайшей степени славы и могущества. <...> Все, что было сделано вследствие этого направления, велико и полезно, все, сделанное вопреки его видам, упало само собою!» [7, ч. I, с. 200–201]. В российской столице своего детства Булгарин видит слияние двух начал – отживающего («повсюду выглядывала Азия и старинная *предпетровская* Русь, с своею полудикостью и полуварварством») и набирающего силу («только вокруг Зимнего дворца, на Невском проспекте до Анич-

кова моста, в двух Морских и в двух Миллионных была Европа» [7, ч. I, с. 199]). Риторическая организация мемуарного текста по своему откликается на это столкновение.

2

Среди риторических приемов Булгарина, не раз подвергавшихся критике его современниками, – частое употребление иностранных слов и выражений на различных языках с авторским переводом. Однако согласимся с В. А. Мильчиной, которая в этой привычке «подпирать» русские слова иностранными видит «самую оригинальную особенность булгаринского обращения с иноязычным материалом», «индивидуальную булгаринскую форму европеизации» [21, с. 167]. В какой-то мере сродни этой стратегии оказывается и привлечение наряду с латынью античных реалий, апеллирующих к знакомым культурным ассоциациям, таких как античная мифология, устойчивые выражения, имена античных героев, мыслителей и писателей, упоминание исторических событий.

Попытаемся выявить уровни и способы вовлечения античного материала в текст булгаринских «Воспоминаний», определить функции античных реминисценций в самом разворачивании мемуарного сюжета, воссоздающего этапы взросления героя, формирования его личности в движении истории.

Симптоматично, что первое в тексте обращение к античному материалу мотивировано стремлением обосновать собственную идеологическую позицию. Античность, оцененная сквозь призму официальной идеологии Николаевской эпохи, оказывается тем базисом, на котором Булгарин выстраивает свое видение национальной трагедии поляков, издавна толковавших «о вольности и равенстве», однако, по его мнению, принявших за свободу своеволие: «В юности нашей, начитавшись о римской и греческой республиках, о людях, иногда самых мелочных умом и душою, но наделавших шуму своею дерзостью и пылкими речами и за то произведенных в великие мужи красноречивыми писателями, мы часто предаемся мечтам и желаем переворотов, потрясений,

бредим о вольности и равенстве (которые, сказать мимоходом, никогда не существовали в мире и не будут никогда существовать для массы народа) и завидуем так называемым героям народным!.. Школьничество – и только! <...> Нет зверя свирепее разъяренной черни! Все усилия образованного сословия должны клониться к просвещению народа насчет его обязанности к Богу, к законным властям и законам, к водворению в сердцах человеколюбия, к искоренению врожденного человеку звериного эгоизма, а не к возбуждению страстей, не к порождению несбыточных надежд. Кто действует иначе, тот преступник пред законами человечества» [7, ч. I, с. 13–14].

При этом нельзя не заметить, что одни и те же исторические примеры могут у Булгарина получать различную интерпретацию. Так, уже знакомый нам по упомянутой притче легендарный сюжет о сожженной по приказу халифа Умара ибн аль-Хаттаба аль-Фаруки Александрийской библиотеке в «Воспоминаниях» получает иную, теперь уже негативную трактовку в характеристике влияния иезуитов на польское общество: «Иезуиты систематически истребляли истинное просвещение и помрачали даже здравый рассудок на основании правила Омара, сжегшего Александрийскую библиотеку! Они держали в своих школах людей от юношеского до зрелого возраста, шпигуя их память латынью и отягчая ум ложными понятиями о науках, искажая истину, когда она не согласовалась с учением Римской церкви, и только тех из учеников допускали в святилище наук, которые соглашались вступить в их братство» [7, ч. I, с. 70–71].

В качестве отрицательного примера выступает в первых главах, рассказывающих о детстве героя, и древняя Спарта, заставляя заключить, что, несмотря на полученную в результате спартанского воспитания физическую закалку, автор, однако, никому не советует следовать этой системе: «Гораздо лучше *закаливать* детей *постепенно* и сообразно с их сложением. Мы живем не в Спарте, и в наше время *голова* важнее *туловища!*» [7, ч. I, с. 104]. Даже латынь, на долю которой приходится большая часть упоминаний в первой части (4 из 12 во всем тексте), сопровождается негатив-

ными обертонами значения: это и насаждение латыни иезуитами, и юридические реалии, сохранявшиеся на присоединенных польских землях, в данном случае – многолетний судебный процесс, опирающийся «на важнейший пункт польского законодательства: *Expulsio et violentia*»⁷ [7, ч. I, с. 140–141], связанный с изгнанием семейства из родной усадьбы. В выстраиваемый оценочный ряд вписывается и привычный риторический прием – апелляция к античной мифологии. В детских главах «Воспоминаний» первым мифологическим персонажем оказывается горгона Медуза, чей образ появляется в связи с наиболее травмирующим воспоминанием кадетства – полковником К. А. Пурпуром, от которого больше всего настрадался герой: «...он, охотясь беспрестанно на меня, довел меня до того, что я почти окаменел сердцем и возненавидел все в мире, даже самого себя! <...> Чрез полгода, кажется, после моего выздоровления он вышел из корпуса в армию – и все забыто! Не могу, однако ж, умолчать при этом случае, что года чрез четыре по выходе моем из корпуса, встретив в обществе человека, похожего лицом на Пурпура, я вдруг почувствовал кружение головы и спазматический припадок. Теперь уже перестали изучать мифологию, и предание о Медузиной голове пришло в забвение; но я не забуду этого вымысла, испытал смысл его на себе!» [7, ч. I, с. 265, 280–281]

Лишь в финале первой части негативные коннотации при античных включениях сменяются мягкой иронией, как это происходит в характеристике учителя истории Г. В. Геракова, доброго и честного чудака, который часто навещал кадетов вне занятий и, «расхаживая по саду, окруженный кадетами, воображал себя Платоном в садах Академии», однако при этом умел возбуждать любовь к истории в своих учениках «и воспламенять страсть к славе, величию и подражанию древним героям» [7, ч. I, с. 288]. Восстанавливается в правах и латынь: в приложенных к этой части авторских пояснениях Булгарин поместил свидетельствующую о его благородном происхождении метрику из Минской римско-католической епархии на латинском языке и ее русский перевод [7, ч. I, с. 311].

Таким образом в первой части, посвященной детству героя, утрате родины и дома, Булгарин апеллирует к античным образам и реалиям, вписанным в отрицательный эмоционально-смысловой контекст. Акцент сделан на заблуждениях, которые неизбежны при отождествлении идеалов античности и современности, даже в таких неоспоримых, казалось бы, для сформировавшейся в Петровскую эпоху культурной традиции моментах, как подражание величию героев.

Для наглядности анализируемого материала представим его схематически в *таблице 1*, которая даст возможность увидеть картину обращений в тексте к материалу античности.

Таблица 1

Тематические группы	Кол-во упоминаний в тексте	Часть 1	Часть 2	Часть 3	Часть 4	Часть 5	Часть 6
Латынь	12	4	2	—	1	3	2
Античная мифология	23	2	6	3	1	4	7
Античная история	18	3	5	2	3	1	4
Герои античной истории	15	1	7	4	2	—	1
Античные философы и писатели	21	1	7	4	5	1	3

Понимая всю условность схематических допущений, тем не менее можно попытаться сделать некоторые выводы. Так, рассмотренная в качестве своеобразного маркера латынь намечает некий пунктир, обозначающий путь героя, сначала утратившего польскую родину и связь с западноевропейской культурой, а затем, спустя годы, вновь возвратившегося в европейский контекст. Обращение к античной мифологии демонстрирует иную закономерность:

число максимальных упоминаний античных мифологических образов приходится на вторую и шестую части, в которых речь идет о мирной жизни героя.

Вторая часть «Воспоминаний», рассказывающая о кадетском взрослении, вовлекает в повествование новые пласты античного материала. В первую очередь подключается традиционная тематическая группа мифологических образов. Античная мифология служила общим риторическим ресурсом для литературы первой трети XIX в., однако болгаринские мемуары свидетельствуют об угасании этой традиции, ее ироническом переосмыслении: образы античной мифологии перестают быть способом подключения к идеальному измерению, когда благодаря этому приему жизнь получала эстетическое оправдание и наполнение. В «Воспоминаниях» они, напротив, как правило, включены в иронический контекст: таковы «новый Парис для Прекрасной Елены», Калипсо, Цирцея и сирены, соблазняющие героя. Не случайно наиболее богата мифологической лексикой шестая часть, рассказывающая о мирной жизни в Кронштадте, названном Русской Цитерой [7, ч. VI, с. 11], а из всех мифологических образов преобладающей частотностью в тексте отмечен Бахус (он встречается трижды, причем всегда в соответствующем ироническом контексте, из них дважды в шестой части).

Вместе с тем было бы преждевременным заключить, что обнаруженная нами тенденция является главенствующей в риторической стратегии «Воспоминаний». Повествование о кадетской юности включает в себя описание воспитания и образования будущей военной элиты – и это вполне закономерно активизирует такие тематические группы античного материала, как обращение к примерам героической истории Древней Греции и Древнего Рима, изучение памятников античной литературы и философии. Художественная функция названных тематических групп традиционна и соответствует не столько общей поэтике времени, сколько того социального круга, в котором происходило формирование Булгарина, как и будущих декабристов – известны их признания об особой роли Античности в формировании мировоззрения [см.: 17, с. 130–139].

В качестве примера приведем мемуарные свидетельства другого выпускника Сухопутного шляхетного кадетского корпуса – С. Н. Глинки, который рассказывает о воспитании кадетов под знаком римских добродетелей. Так, Я. П. Кульнева он сравнивает с героями древности: «...Кульнев шел в корпусе по следам Фабриция и Эпаминонда. Подобно фивскому Эпаминонду, любил он мать свою и делился с нею жалованьем и, подобно Филопемону, был прост в одежде и в быту общественном. <...> Оживляя в лице своем Эпаминонда и Филопемона и породнясь душою с Фабрицием, Кульнев дорожил своею бедностью и называл ее „величием древнего Рима“» [15, с. 79]. Рассказывая историю корпусного преподавателя математики, из бывших кадет, отправившегося в стужу через залив навестить больного брата, Глинка пишет: «Если бы он был на месте Регула, то, вероятно, и ему довелось бы проситься из стана ратного у сената римского распахать и обрабатывать ниву свою. Кроме жалованья не было у него ничего; но был у него брат, ценимый им выше всех сокровищ. Взаимная их любовь как будто бы осуществила Кастора и Поллукса. Но это герои баснословные. На поприще исторической любви братской Гине стал наряду с Катонам Старшим, который на три предложенные ему вопроса: „Кто лучший друг?“ отвечал: „Брат, брат и брат“. Брат нашего Катона-офицера служил в Кронштадте и опасно занемог. Весть о болезни брата поразила нашего Катона-Гине. Свиристствовали трескучие крещенские морозы. Залив крепко смирился под ледяным помостом. Саней не на что было нанять, но была душа, двигавшая и ноги, и сердце, и Гине отправился к брату пешком, в одних сапогах и даже без чулок. Можно было взять у кого-либо теплые сапоги или деньги? Но что такое просить? Одолжаться. Древний римлянин терпел, а не просил. С небольшим в полтора суток Гине перешел залив, навестил, обнял брата и возвратился в корпус к назначенному дню дежурства. Хотя и оказались признаки горячки, хотя и уговаривали его отдохнуть и вызывались отдежурить за него, он отвечал: „Не изменю должности моей“. Отдежурил и слег в постель, в бреду жестокой горячки видел не престанно брата, говорил с ним и с именем его испустил последнее дыханье» [15, с. 77–78].

Нельзя не заметить, что с рассказом о Катоне-Гине сюжетно рифмуется эпизод из шестой части «Воспоминаний» Булгарина о его опасном путешествии из Кронштадта в Петербург к больной сестре, несмотря на сниженный у Булгарина стилистический регистр (ведь он рассказывал о своем подвиге). Вместе с тем в булгаринских мемуарах точно так же, как в текстах Глинки и декабристов, Кульнев напоминает «суровых воинов древней Спарты и времен Святославовых» [7, ч. IV, с. 306]; П. К. Сухтелен предстает Нестором Финляндской кампании⁸ [7, ч. V, с. 17]; известные своей дружбой и похождениями лейтенанты Г. И. Давыдов и Н. А. Хвостов – русскими Орестом и Пиладом, «которые и жили, и страдали вместе, и дрались отчаянно, и вместе погибли» [7, ч. II, с. 148]; о письмах В. М. Головнина из японской тюрьмы автор замечает: «Письма сии вполне характеризуют геройский дух русского моряка. Если б подобное событие случилось в Древнем Риме, то Головнин был бы прославлен, как Регул!» [7, ч. II, с. 332], о его поведении в японском плену автор восклицает: «Есть ли что выше в летописях Древней Греции и Древнего Рима! Вот истинное самоотвержение, т.е. геройство!» [7, ч. II, с. 335]; а удачную ретираду М. И. Кутузова от Кремса до Вишау в кампании 1805 г. перед лицом превосходящего силами противника сравнивает со знаменитым в военной истории отступлением «10 000 греков с Ксенофонтом» [7, ч. II, с. 182].

Античность предстает в «Воспоминаниях» как образец и способ историзации, возможности вписать события и людей в историю: «Чудная эпоха, которая не скоро повторится на земле, эпоха истинно мифологическая! Битвы титанов, общий переворот на земном шаре, падение и восстание царств, столкновение целых народов, ряды героев в их челе – все это мы видели и участвовали в великих событиях, как капля воды в волнах разъяренного моря. Молодость наша прошла в тяжких трудах, в великих опасностях, и мы рано возмужали. Пролетит еще несколько лет, и много великих дел, совершившихся на наших глазах, уже не будут иметь очевидных свидетелей, перейдут в предания, и многие юноши с пламенной душою станут нам завидовать! <...> Воины Александра и Наполеона, как некогда сподвижники Энея и Агамемнона, обращают

на себя внимание *умных людей* нового поколения! Говорю не о себе – я нуль в этом счете, – но указываю на людей, и ныне достойно подвигающихся на поприще службы или оставивших по себе незабвенную память!..» [7, ч. II, с. 130–131].

3

Традиционный риторический прием вместе с тем обретает у Булгарина дополнительную функцию: тема исторической памяти, благодаря античным реминисценциям, генерирует новый мотив – «герои и их творцы», сопрягающий темы воинских подвигов и судеб писателей, трогающих сердца. Мотив этот питает скрытый внутренний сюжет «Воспоминаний» о выборе жизненного призвания героем, которому довелось быть воином и писателем. Античное наследие – основание, на котором строится этот сюжет.

Кадетским наследством легендарного Ангальта, заповеданным им главным правилом образованного русского европейца, было «умение объяснять мысли свои *словом и пером* <...> непременно писать правильно на родном языке, и даже выражаться щегольски, и знать притом основательно хотя один из иностранных языков, особенно французский, тогда уже общеупотребительный в Европе» [7, ч. II, с. 18]. Поворотным моментом своей кадетской жизни, после чего для него началась новая жизнь, автор называет сближение с учителем словесности А. А. Лантингом, которое произошло после написанного кадетом Булгариным, испытавшим горький опыт сиротства, искреннего сочинения на тему Давидова псалма «На реках Вавилонских тамо седохом и плакахом» (библейской песни плененных и гонимых евреев, рыдающих у чужих берегов и тоскующих о родине). «Чем живут Рим и Греция? – внушал Лантинг. – Писателями! Кагул, Римник важнее Фермопил и Марафонской битвы, и переход Суворова чрез Альпы затмевает славу Аннибала; но подвиги древности кажутся выше, потому что изображены красноречиво» [7, ч. II, с. 18–19]. Под руководством Лантинга юный Булгарин, по его словам, изучил древнюю историю Греции и Рима, прочел увлекательный роман аббата Бартеlemi о жизни в Древней Греции «Путешествие Анахарсиса по Греции и Азии», в беседах

с ним открыл для себя «в живых картинах древний и новый миры, с их духовною жизнью» [7, ч. II, с. 26–27]. Рассказ о юношеском становлении кадетов, собиравшихся у Лантинга, благодаря античному фону, во-первых, позволяет вписать их жизни в историю, как это происходит с братьями Броглио и Сашей Клингером – будущими участниками Отечественной войны 1812 г.; во-вторых, инициировать мотив пробудившейся у героя-мемуариста страсти к авторству как некой природной склонности, определившей его предназначение: «Я уже и тогда чувствовал, что это несчастье! История Сократа была мне хорошо известна...» [7, ч. II, с. 37]. Античность как бы освящает предназначение каждого из этих юношей, окружавших Лантинга. Как обычно, Булгарин апеллирует к авторитетной точке зрения, акцентируя значимую для него мысль, слова будущего генерал-фельдмаршала И. И. Дибича об одном из сочинений юного кадета Булгарина эксплицируют указанный мотив: «Обработывайте ваш талант, молодой человек (*cultivez votre talent, jeune homme*), и помните, что без Квинта Курция не было бы для нас Александра Великого, а без Тацита Агриколы!» [7, ч. II, с. 43].

Таким образом, свой жизненный выбор герою мемуаров предстоит совершить, помня о судьбах приговоренного к смерти и принявшего яд Сократа и прославившего героев Тацита. О первом из них и цене за талант он напомним, рассказывая о славе и несчастьях драматурга В. А. Озерова, который, по его словам, «олицетворял собою известный латинский стих: *Irritabile genus vatum*»⁹ [7, ч. II, с. 291]. Миссию же Тацита можно было исполнить, только будучи свидетелем эпохальных исторических событий, что и предстояло автору – герою мемуаров. Отправляясь на свою первую войну – с Наполеоном, семнадцатилетний герой, над которым иронизирует умудренный опытом мемуарист, отвечает провожающей его сестре спартанским выражением: «...с щитом или на щите! Теперь мне смешно, когда я подумаю об этом! Бедный корнет, я думал, что и мой меч должен иметь свое значение на весах всемирной политики!» [7, ч. II, с. 326].

В основание мемуарного повествования о военных событиях, в которых довелось участвовать Булгарину (им посвящены

части III–V), положен традиционный просвещенческий культурно-исторический образ Античности. Античные реминисценции призваны придавать действительности идеализованно-нормативный характер, таковы сравнения современников с «героями Гомеровыми» [7, ч. III, с. 33]; оценка русских воинов как спартанцев историком Биньоном [7, ч. III, с. 51]; шутливая самооценка болгаринского сослуживца: «Я хотя и не Леонид, но стою в Фермопилах, и меня *вынесут* отсюда, но *не выгонят!*» [7, ч. IV, с. 128]; признание, что события Финляндской кампании заставляют «перенестись мыслью во времена Древней Греции и в блистательнейшую эпоху Рима» [7, ч. IV, с. 268] и восклицание в связи с лаконичным приказом Аракчеева о переходе через Кваркен: «Воля ваша, а это отзывается Древним Римом!» [7, ч. V, с. 222]. Булгарин проецирует современные события на античные и при характеристике противников. Так, он дважды вспоминает Капую, в которой, как свидетельствует Тит Ливий, «изнежилось» и разложилось войско Ганнибала, – сначала оценивая боеготовность пруссаков [7, ч. II, с. 247]), а затем говоря о бездействии и роскошной жизни Наполеона в главной квартире в Финкенштейне весной 1807 г. [7, ч. III, с. 145–146]. В целом античный фон этих частей «Воспоминаний» (что подтверждает приведенная таблица) нельзя признать слишком концентрированным.

Тем отчетливее на нем выделяется своей активностью отмеченный нами мотив, сопрягающийся с именем Тацита. Напомним о значительном влиянии Тацита на болгаринское поколение: так, декабристы в своих показаниях на следствии и в воспоминаниях среди оказавших на них воздействие древних писателей называли в первую очередь Тацита [17, с. 132]. Среди важнейших военных событий, о которых рассказано в мемуарах, – участие юного корнета Булгарина в сражении войск Четвертой коалиции с Наполеоном под Фридландом (июнь 1807 г.), за которое он был награжден орденом Святой Анны 3-й степени. Примечательно, что античные реминисценции в повествовании об этой битве сопровождают описание подвига не самого мемуариста, а его сослуживца Т. Л. Старжинского – под неприятельским огнем он восстановил мост, что позволило спастись многим:

«Красавцу, с отличным воспитанием и благородному во всех своих поступках, ему недоставало только военной славы – и он приобрел ее подвигом, которого не пропустил бы без внимания ни Тит Ливий, ни Тацит. <...> Старжинский обрекал себя на явную смерть, и если он остался жив и невредим, то это истинное чудо. Разве Гораций Коклес сделал более!» [7, ч. III, с. 204]. Очевидно, что авторская интенция связана с иной, не менее важной для него ролью. В соответствии с напрашивающейся аналогией можно понять: тот, кто опишет подвиг современного героя, уподобится Титу Ливию и Тациту, – кто и сделал Булгарин, причем впервые задолго до «Воспоминаний»¹⁰.

Аналогия эта настойчиво поддерживается, становясь лейтмотивом четвертой части. Предварив включенный в мемуары биографический очерк Барклай-де-Толли замечанием: «Я уже сказал однажды в „Северной пчеле“, что Барклай должен иметь своего Тацита¹¹» [7, ч. IV, с. 163], – и завершив его словами: «Барклай-де-Толли достоин был предводить легионами Цезаря, и Плутарх или Тацит изображением его характера украсили бы красноречивые страницы своего повествования» [7, ч. IV, с. 177], – и, наконец, заявив: «Финляндская война – это блистательный эпизод в русской истории, достойный иметь своего Тацита и своего Гомера» [7, ч. IV, с. 12], – Булгарин, одним из первых обратившийся к описанию этой страницы военной истории России, вполне определенно позиционировал себя как Тацита и Гомера нового времени.

Так обретает силу наметившийся ранее сюжет о собственном авторском предназначении, корреспондирующий с темой судеб писателей и поэтов современности и Античности. Обретая голос для описания исторических событий, автор словно колеблется в выборе наиболее адекватной манеры повествования. О сопряжении двух манер, художественной (гомеровской) и исторической (тацитовской), он размышляет во вставной главе «Солдатское сердце», рассказывающей о проявленном им во время Финляндской кампании великодушии к противнику, эпизоде, уже описанном им беллетристически в военном рассказе¹² и положенном Н. А. Полевым в основу пьесы. Булгарин и здесь подкрепляет свои авторские стратегии авторитетом Тацита: «В каждом вымысле много правды;

в каждой правде есть вымысел, или для прикрасы, или для связи. Великий Тацит писал картину при помощи своего воображения, когда изображал Агриппину, вступившую на отечественную землю с прахом Германика. То же самое, что делают великие писатели, делают и малые» [7, ч. IV, с. 364].

Таким образом Тацит, единственный из одиннадцати античных авторов упомянутый в тексте семь раз (из них четыре в четвертой части), выходит на первый план античного фона, на котором строится историко-героическая картина. Не ясен лишь вплетающийся в повествование в связи с ним мотив клеветы («*Salve Domine!*¹³ Сорок лет прошло со времени описываемого здесь происшествия, но это еще не ограда от клеветы» [7, ч. IV, с. 366]). Однако в следующей, пятой части этот мотив будет подхвачен и прояснен в новом контексте в связи с образом М. М. Сперанского. В историческом очерке жизни русского общества Сперанскому отведено особое место – в «Воспоминаниях» он предстает как наиболее значительная и выдающаяся личность эпохи Александровского правления. Заметим попутно, что в социально-исторической характеристике своего времени в пятой части Булгарин вновь не раз обращается к латыни, как правило, в форме латинских афоризмов – латинизированная фамилия Сперанского, данная ему в семинарии, включается в этот контекст. Мемуарный сюжет, посвященный Сперанскому, с которым Булгарин был знаком и общался в связи с судебной тяжбой, выходит за пределы обычной характеристики и превращается в историю великого человека, сподвижника императора, несправедливо обвиненного недругами и завистниками, которые погубили его карьеру. Финальная точка этого сюжета получает высокую гражданскую и эстетическую санкцию благодаря апелляции к римской античности, причем Булгарин впервые включает в текст обширную цитату из античного источника – сочинения Публия Корнелия Тацита «О жизни и характере Юлия Агриколы»¹⁴: «Сперанский был в полной мере человек добродетельный и мудрый в жизни общественной и семейной, в кругу своих приверженцев, которым он был предан душою, и между своими врагами и завистника-

ми, о которых он только сожалел и никогда даже не помышлял о мести. Ни одно пятно не пало на его светлую, тихую, примерную жизнь, и о нем можно сказать то, что сказал Тацит об Агриколе: „*Quidquid ex Agricola amavimus, quidquid mirati sumus, manet mansurumque est in animis hominum, in aeternitate temporum, fama rerum. Nam multos veterum, velut inglorios et ignabiles, oblivio obruet: Agricola, posteritati narratus et traditus, superstes erit*“. Т. е. „Все, что мы любили и чему удивлялись в Агриколе, живет и будет вечно жить в сердцах вместе с памятью дел его. Многие из пользовавшихся в старину известностью погибнут в пучине забвения, в бесславии и ничтожестве; Агрикола, перенесенный в потомство повествованиями и преданиями, останется бессмертным“» [7, ч. V, с. 338–339].

Тацит, как видим, вполне закономерен для выявленной риторической стратегии анализируемого мемуарного текста, однако важен контекст цитаты, отсылающий читателя к истории взаимоотношений Сперанского и Александра I. Рассказывая о последних днях своего тестя Агриколы, несправедливо подвергнутого гонению, Тацит говорит о лицемерии и притворстве принцепса Домициана, чью «душу вконец ослепила и развратила беспрерывная лесть»: «Человеческой природе свойственно питать ненависть к тем, кому мы нанесли оскорбление: и душа Домициана так же легко распалялась гневом, и чем сдержаннее он был, тем более неумолим <...> И да будет ведомо тем, у кого в обычае восторгаться недозволенной дерзостью по отношению к наделенным верховною властью, что и при дурных принцепсах могут существовать выдающиеся мужи и что послушание и скромность, если они сочетаются с трудолюбием и энергией, достойны не меньшей славы, чем та, которую многие снискали решительностью своего поведения и своею впечатляющей, но бесполезной для государства смертью» [27, с. 335].

Так замыкается состоящий из трех элементов своеобразный «латинский микросюжет» пятой части. Его открывает латинский афоризм «*Non solis armis*», т. е. „Не одним оружием“, принятый девизом своего герба просвещенным покровителем наук графом

Н. П. Румянцевым: «...и науки воздвигли ему памятник столь же прочный, какой победы соорудили его великому родителю. Никто из частных людей не сделал более для отечественной истории, как граф Румянцев» [7, ч. V, с. 264]. Затем латинская поговорка «De mortuis aut bene, aut nihil» («Об умерших либо хорошо, либо ничего») позволяет автору в рассказе о выдающихся людях эпохи умолчать о завистниках и гонителях Сперанского, лишь намекнув о них [7, ч. V, с. 298]. Цитата из Тацита не просто ставит эффектную точку, но дает возможность мемуаристу провести аналогию с собственной судьбой: «Я ходил к нему, как к оракулу, для разрешения моих сомнений о разных предметах, за советом, а иногда за утешением. Взгляд его и звук голоса действовали на меня магически. В тот день, когда я видел Сперанского и слышал его голос, я был счастлив! Он одобрял меня в ратовании за исторические истины, за чистоту языка и изящное, почитал статьи мои о нравах полезными, и это придавало мне силу и мужество. Вражда пигмеев-гордецов, которым я не хотел покориться, казалась мне ничтожною после ласкового слова Сперанского! Мои мысли насчет русской истории, изложенные в моем сочинении „Россия в историческом, статистическом, географическом и литературном отношениях“, были одобрены Сперанским, принимавшим живое участие в этом моем труде. Во многом я прибегал к его советам. <...> Сперанский – это редкое явление, которое, вероятно, не повторится в течение долгого времени! Почитаю себя счастливым, что я знал его и даже заглядывал в его высокую душу и что дожил до того времени, в которое отдана ему была полная справедливость» [7, ч. V, с. 340–341, 344].

Отличие от декабристов, которым была близка тираноборческая трактовка Тацита, для Булгарина он скорее является высшим авторитетом, символом некой пребывающей в истории вечной истины, которая доступна лишь владеющему даром слова¹⁵. И спустя годы Булгарин грозил своим оппонентам со страниц «Северной пчелы»: «...знайте, что быть может и теперь уже есть где-нибудь другой Тацит, который передаст об нас потомству» [29]. Будучи известным полемистом, искусственным в критических баталиях,

умевшим в жестких цензурных условиях говорить между строк, Булгарин наделяет античную цитату новой функцией, извлекая неожиданные смыслы. Такое окказиональное употребление создает необходимый подтекст, объединяющий, по версии автора, оклеветанных завистниками и интриганами Барклая, Сперанского и самого автора, и этим подготавливая неожиданный сюжетный скачок в шестой части – падение героя-мемуариста в результате каких-то неясных интриг недоброжелателей, его пребывание в Кронштадте и дальнейшие странствия. Вместе с тем булгаринский текст демонстрирует характерную особенность новой культурной эпохи: «Античное наследие перестало быть компонентом русской культуры, становясь источником аллюзий или предметом изучения», – констатирует современный исследователь [17, с. 172].

Шестая часть апеллирует к античности преимущественно в иронически сниженном и сатирическом стилистическом регистре. Вспоминая проживавшего в Кронштадте писателя-сатирика А. Ф. Кропотова, Булгарин говорит о его служении «десятой, безымянной, музе», скорее всего подразумевая под ней сатирическую поэзию, предшественницу «натуральной школы», характеристику которой и дает следом [7, ч. VI, с. 131]. Возвращение героя в Польшу, в европейское пространство и европейский культурный контекст, сопровождается отсылками к латыни, неотъемлемой части польского гражданского общества (к примеру, когда речь идет о праве «*liberum veto*», или «*niepozwalam*»¹⁶ [7, ч. VI, с. 83]), однако теперь Булгарин считает необходимым указать на близость нравственных оснований родственных народов, принципов русского и польского дворянина: «На честное слово можно было поверить жизнь, честь и имение. *Verbum nobile debet esse stabile*¹⁷ составляло главную заповедь дворянина. Это то же, что старинное русское „Не дал слова – крепись, а дал слово – держись“ и древненовгородское „А кто не сдержит слова, тому да будет стыдно“. В нашем славянском племени стыд (то есть бесчестие) был величайшим наказанием, и честное слово тверже всех залогов и подписей» [7, ч. VI, с. 194].

Таким образом, античные реминисценции генерируют внутренний сюжет мемуаров – превращение героя, прошедшего школу

жизни, в писателя, свидетеля исторических событий, уподобленного Тациту и готового, подобно Сократу, принять свой жребий. (Любопытно, что и историческое фиаско Наполеона Булгарин обозначает через призму названного «жертвенного» мотива, заявив, что «Наполеон был поэтом в политике – и оставил после себя в истории „Илиаду“; противники же его, действуя для государственных польз, приобрели существенные выгоды» [7, ч. III, с. 332–333].) Стремясь придать этому служению высшую санкцию, он сопрягает античную и евангельскую образность: «Кто хочет узнать вкус *желчи с уксусом*¹⁸ – милости просим к нам, под знамена Аполлона!» [7, ч. IV, с. 82].

Вне зависимости от оценки подобных претензий Булгарина, его взгляда на свое писательское предназначение и творческую судьбу, справедливости ради следует сказать, что его характеристика Сперанского, а возможно, что и указанные аллюзии, послужили поводом для репрессивных действий в отношении его мемуаров. С опровержением достоверности воспоминаний о Сперанском вскоре выступил М. А. Корф [18], сославшийся в том числе и на свидетельства дочери Сперанского Е. М. Фроловой-Багреевой. После чего последовал строгий выговор Николая I, в котором подчеркивалась недопустимость и неуместность воспоминаний и суждений частного лица о событиях и действиях государственного уровня: «Может ли частный человек распределять за эпоху столь еще к нам близкую и таким диктаторским тоном славу государственных подвигов между монархом и его подданными», – негодовал император [33, с. 520]. Скорее всего, именно это событие послужило причиной прекращения работы над воспоминаниями, которые завершились прибытием героя в Париж, сравниваемый им с Римом «во время первых кесарей» [7, ч. VI, с. 323–324].

* * *

Анализ мемуаров Булгарина позволяет с большей полнотой судить о поэтике времени, уточняя представление о месте и роли античности в ней. В период угасания культурной традиции (для которой античное наследие служило одним из важнейших каналов

усвоения европейских идей), жестко заданных официальной идеологией рамок, регулирующих отношение к античности и риторические формы обращения к ней, «Воспоминания» демонстрируют способность к трансформации приема. Античный материал вовлекается в мемуарный текст не столько в качестве эстетизирующего фона, своеобразного мифа, подключающего идеальное измерение, сколько актуализирует значимость современности, обнажая ее парадоксальную близость с древней историей. Попытки опереться на античность как эстетический идеал преодолеваются напором иной стилистической стихии, внимательной к быту, психологической достоверности, откликающейся на авторскую субъективность. Мемуарный сюжет обнаруживает в качестве центральной риторической установки стремление передать личностное ощущение истории, обрести и исполнить в ней свое предназначение. Проанализированные риторические стратегии «Воспоминаний» позволяют увидеть драматизм культурной ситуации 1840-х гг.: с одной стороны, для авторского сознания авторитетна некая пребывающая в истории истина, манифестируемая античным источником, с другой – через античные реминисценции активно заявлена личностная претензия на оценку своего участия в истории.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ Подобный подход характерен для работ, появившихся в последнее время [см.: 25; 30].

² Приказом от 17 ноября 1798 г. предписывалось: «Из определенных в корпус в кадеты в малолетное отделение недоросля из дворян Булгарина зачислить в оное же отделение налицо» [1].

³ Перевод был посвящен графу Ангальту [см.: 32].

⁴ В письме к Я. Чечоту от 25 октября 1819 г. Мицкевич писал о плане распространения латыни путем издания классиков [см.: 22, с. 283, 291, 296].

⁵ Эту роль призван был выполнять издаваемый с 1822 г. Булгариным «Северный архив» («журнал истории, статистики и путешествий»), который выходил с эпиграфом из Федра «*Nihil ager quod non prosit*» («Трудись лишь с пользой»), что соответствовало принципам философии «здорового смысла» – пользе и целесообразности. Моральная философия басни Федра «Деревья под покровительством богов» строится на оппозиции

славы и пользы: «Нелепа слава, если в деле проку нет <...> Трудись лишь с пользой – учит эта басенка» [см.: 31, с. 35].

⁶ См. также: «Недавно в одном из листков „Северной пчелы“ прочли мы известие, что г. Булгарин – Сократ; теперь из 86 № этой же газеты узнаем, что г. Булгарин – Вальтер Скотт!!! <...> Если сходство г. Булгарина с Сократом не подвержено ни малейшему сомнению, то еще менее можно сомневаться в сходстве мызы Карлово с Абботсфортом, а г. Булгарина с Вальтером Скоттом» [5, т. VII, с. 86]; «Было время, г. Булгарин чуть было не попал в русские Вальтер Скотты; но это время давно прошло, и хотя сотрудники „Северной пчелы“, во время отсутствия г. Булгарина из Петербурга, и провозглашают его время от времени русским Вальтером Скоттом („Северная пчела“, 1843 г., номер 86) и даже сам он, не отвергая подносимого ему сотрудниками титула, иногда величает себя, для разнообразия, Сократом („Северная пчела“, 1843 г., номер 57) – однако ж публика видит теперь в нем только говорливого фельетониста „Северной пчелы“, ни больше, ни меньше, совершенно забыв о его прежних творениях» [5, т. IX, с. 611].

⁷ «Изгнание как насилие» (с лат.) – юридический термин в польском законодательстве для обозначения незаконного захвата чужой собственности, поместий.

⁸ Булгарин использует традиционное сравнение с античным героем – старейшим среди греческих героев, осаждавших Трою, пользовавшимся всеобщим уважением за мудрость и справедливость. Ср. о роли Н. М. Каменского в Финляндской войне: «Он был Ахиллесом этой войны» [8, с. 83–84] или о Суворове: «Суворов, как новый Прометей, образовал новых людей на свой образец» [9, с. 171].

⁹ «Ранемое племя поэтов» (с лат.) – выражение Горация («Послания». II. 2. 102).

¹⁰ Булгарин рассказал о подвиге Старжинского за 20 лет до «Воспоминаний» в биографии-некрологе А. И. Лорера [20, с. 179] и очерке «Беседы у больного литератора» [6].

¹¹ См. статью Булгарина «Правда о 1812-м годе, служащая к исправлению исторической ошибки, вкравшейся в мнение современников», где, отдавая должное Пушкину, посвятившему Барклаю своего «Полководца», Булгарин писал: «Он первый доказал, что Барклай-де-Толли есть великий предмет для русской лиры!» [13].

¹² История о том, как посланный арестовать шведского пастора Булгарин из сострадания нарушил приказ, была положена им в основу военного рассказа «Прав или виноват?» [12].

¹³ «Спаси, Господи!» (с лат.).

¹⁴ К этому сочинению Тацита Булгарин не раз обращается в письмах, жалуясь на цензуру, в период работы над «Воспоминаниями» [см.: 23, с. 175, 192]; в финале одного из своих фельетонов он неверно приписал Агриколе фразу «Варвары гонят нас в море, море отбрасывает нас на варваров» [28], которая представляет собой просьбу бриттов о помощи в пересказе Гильдаса Мудрого.

¹⁵ Булгарин называл Тацита «своим любимцем» и сообщал, что в его домашней библиотеке в Карлово есть все издания его сочинений [29].

¹⁶ «Не разрешаю» (с польск.).

¹⁷ «Слово чести должно быть твердым» (с лат.).

¹⁸ Имеется в виду питье, которое дают Иисусу, распятому на кресте (Мф 27:34).

ИСТОЧНИКИ И БИБЛИОГРАФИЯ

1. РГВИА (Российский государственный военно-исторический архив). Ф. 314. Оп. 1. Д. 40. Л. 76.

2. *Акимов Н. Н.* Ф. В. Булгарин: философия здравомыслящего человека // Литература и философия : сб. науч. ст. СПб. : РГТМУ, 2000. С. 33–38.

3. *Алтунян А. Г.* «Политические мнения» Фаддея Булгарина. Идеино-стилистический анализ записок Ф. В. Булгарина к Николаю I. М. : Изд-во УРАО, 1998.

4. *[Ангальт Ф. Е.]*. Искусство учиться, прогуливаясь, или Ручная энциклопедия для воспитания, составленная графом Ангальтом, изданная Сергеем Глинкою. М., 1829.

5. *Белинский В. Г.* Полн. собр. соч. : в 13 т. М. : Изд-во АН СССР, 1953–1959.

6. *Булгарин Ф. В.* Беседы у больного литератора. Вечер второй. Продолжение // Северная пчела. 1825. № 86. 18 июля.

7. *Булгарин Ф. В.* Воспоминания Фаддея Булгарина. Отрывки из виденного, слышанного и испытанного в жизни : ч. I–VI. СПб. : Изд-во М. Д. Ольхина, 1846–1849.

8. *Булгарин Ф. В.* Завоевание Финляндии корпусом графа Николая Михайловича Каменского в 1808 году // Булгарин Ф. В. Сочинения : в 12 ч. СПб., 1830. Ч. 12.

9. *Булгарин Ф. В.* Мысли о характере Суворова // Булгарин Ф. В. Сочинения : в 12 ч. СПб., 1830. Ч. 1. С. 171.

10. *Булгарин Ф. В.* Нечто о переводчиках Гомера // Сын Отечества. 1821. № 30. С. 145–160.

11. *Булгарин Ф. В.* О метафизике наук // Соревнователь просвещения и благотворения. 1821. Ч. 16. № 1. С. 66–77.

12. *Булгарин Ф. В.* Прав или виноват? // Северная пчела. 1840. № 81, 82. 10, 11 апр.

13. *Булгарин Ф. В.* Правда о 1812-м годе, служащая к исправлению исторической ошибки, вкравшейся в мнение современников // Северная пчела. 1837. № 7. 11 янв.

14. *Булгарин Ф. В.* Сочинения : в 3-х ч. Ч. 1. СПб. : Гуттенбергова тип., 1836.

15. *Глинка С. Н.* Записки. М. : Захаров, 2004.

16. [*Гораций К. Ф.*] Избранные оды Горация, с комментариями, изданные Ф. Булгариным. СПб. : тип. Н. Греча, 1821.

17. *Кнабе Г. С.* Русская античность. М. : РГГУ, 2000.

18. *Корф М. А.* О воспоминаниях Булгарина, касательно графа М. М. Сперанского // Русский инвалид. 1848. № 138.

19. *Лалаев [М. С.]* Исторический очерк военно-учебных заведений, подведомственных Главному их управлению. 1700–1880. СПб. : тип. М. Стасюлевича, 1880.

20. Литературные листки. 1824. № 5. С. 179.

21. *Мильчина В. А.* Французский язык и критика перевода в статьях Булгарина из «Северной пчелы»: «словарная стратегия» // Ф. В. Булгарин – писатель, журналист, театральный критик : сб. ст. М. : Новое литературное обозрение, 2019. С. 146–167.

22. *Мицкевич А.* Собр. соч. : в 5 т. Т. 5. М. : Гослитиздат, 1954.

23. *Рейтблат А. И.* Булгарин и вокруг. Письма Ф. В. Булгарина цензорам // Литературный факт. 2017. № 4. С. 172–201.

24. *Рейтблат А. И.* Булгарин и III отделение // Видок Фиглярин: Письма и агентурные записки Ф. В. Булгарина в III отделение. М. : Новое литературное обозрение, 1998. С. 5–40.

25. *Рейтблат А. И.* Фаддей Булгарин: идеолог, журналист, консультант секретной полиции М. : Новое литературное обозрение, 2016.

26. Рекреационный зал Императорского сухопутного кадетского корпуса в исходе прошедшего столетия // Педагогический сборник. 1883. № 4. С. 143–278.

27. *Тацит К.* Сочинения : в 2 т. СПб., 1993. Т. 1.

28. *Ф. Б. [Булгарин]* Журнальная всякая всячина // Северная пчела. 1848. № 256. 13 ноября.

29. *Ф. Б. [Булгарин]* Журнальная всякая всячина // Северная пчела. 1854. № 132. 14 июня.

30. Ф. В. Булгарин – писатель, журналист, театральный критик : сб. ст. М. : Новое литературное обозрение, 2019.

31. Федр Бабрий. Басни / пер. М. Л. Гаспарова. М. : Ладомир, Наука, 1995.

32. [Фенелон Ф.] Приключения Телемака, сына Улисса, сочиненные Фенелоном, а с французского на российский язык переведенные кадетом Императорского шляхетного сухопутного кадетского корпуса Петром Железниковым. Ч. 1–2. СПб : [Печ. при Имп. Шляхет. сухопут. кадет. корпусе], 1788–1789. (2-е изд. 1804–1805).

33. Цензура и Булгарин. 1848–1851 гг. // Русская старина. 1871. Т. IV. № 11. С. 520–523.

34. Янов А. Загадка Фаддея Булгарина. Социально-исторический очерк // Вопросы литературы. 1991. № 9. С. 98–125.

35. *Błaszczyk L. T. Jeżowski and Bulgarin: A case of plagiarism or collaboration?* // *The Polish Review*. 1980. Vol. 25. № 2. P. 15–43.

36. *La muraille parlante* // Педагогический сборник. 1883. № 6. С. 449–484.